

Игорь БЕЛКИН-ХАНАДЕЕВ

г. Москва

**Д
Е
З
Е
Р
Т
И
Р**

рассказ

Приземистый румяный парень идет пешком, иногда оглядывается — позади, скрывшись за посадками, остался семеновский поворот... Попуток не то чтобы нет — едут, но Саню никто не берет. У своих, у самоеловских, видать, все запасено, — по домам сидят, никто под утро на рынок в Балашов не поехал — некому теперь, к полудню, и возвращаться. Изредка прут мимо транзитные рабочие лошадки: в основном вазовские «четверки» да «нивы» — легко долетев по гладкой бетонной трассе из райцентра до Семеновки, сворачивают сюда, на разбитую дорогу, и, теряя скорость, ползут дальше через Самойловку в Аркадак. С прицепами и без, груженные — битком народу и скарба — крестьянские легковушки эти с хрустом давят колесами мелкий щебень в дорожных ямах. Народ — чужой, не самоеловский — бросает равнодушные взгляды из задних стекол: для пассажиров Саня, одетый в мешковатый, явно с чужого плеча, спортивный костюм, — лишь часть унылого степного пейзажа. Всю его солдатскую форму — парадку, фуражку да шинель с пустыми зелеными погонами — ефрейторскую «соплю» рядовой Сашка не выслужил пока ни по сроку, ни по выучке, — рано ему еще, — уже либо носят, либо загнали на барахолке цыгане из поезда. Не до рвеня было Сашке — тяжело тянулись первые армейские полгода и плохо для него закончились.

Время от времени солдат, заслышав позади машину, на ходу «голосует» — поднимает руку, держит ее вытянутой, пока транспорт с ним не поравняется, не прокатит мимо, — и потом беззвучно матерится вслед.

Проезжают и порожняком, но не тормозят — наоборот, норовят втопнуть хлеще... Вахлак ведь, штаны гармошкой, рукава свисают — что он заплатит за извоз?! Сам дотопаем!

Щелкают камни по дну очередной «тачки» — стук глухой, железный, как в ржавую пустоту...

Солдат — а по виду уже и не скажешь, солдат ли, — идет, тащит на плече сумку килограммов на пятнадцать и смотрит окрест. Впитавшие влагу поля размахнулись вишь, вкось, то квадратами, а то в линейку, щетинятся прелой прошлогодней стерней; снеговые лужи, что в низинах, играют с небом в переглядки. Дома начался апрель. Наверно, март здесь был теплым,

раз сугробы уже растопило. А в Алакуртти, где Сашкина войсковая пограничная часть, пока зима. Там местами тайга, а местами лесотундра с сопками, здесь степь. По крайней мере, была когда-то. «Сельскохозяйственные угодья» — так определили Балашовскую природную зону в школьном географическом атласе для седьмого класса. Этим все сказано. Кабы сейчас стародавние времена — быть бы тут дикой глади до горизонта, а ныне все посадками разгорожено, — не дают посадки узреть даль до конца, засыпая сиреневыми в дымке полосами. Но Сашка знает, что вот-вот покажется его родное село.

САШКА — ДЕЗЕРТИР

1

Было это вроде совсем недавно — и месяца не прошло, — а казалось уже, что и не с ним, и вообще в какой-то другой жизни.

— Объясняем политику партии, — трое «старых» расселись по каптерке: один — на столе, двое — на подоконнике. Взгромодили ноги в сбитых уже, до блеска вычищенных сапогах на табуретки и смотрели на Сашку весело, но не по добром — как коты на цыплака. Главный был Салгалов — в этой троице вроде идеолога — шупловатый, в идеально выглаженном «пэша», даже на рукавах стрелки. Кудрявый золотистый чуб из-под шапки и белесые, цвета замызганного банного стеклышка, нахальные глаза к солдатской форме не шли — к ним бы малинову рубаху, картуз с цветком и гармонь — выбрыкивать вприсядку в народном ансамбле в клубе на празднике.

— Чему учили в карантинах — забудь! — объявил «гармонист». — Молодые делают здесь все: чистка, уборка, мытье — все на вас. Раз ты один — значит, на тебе.

— А че, тебя одного прислали? Еще духи будут? — встрял с подоконника тупого вида амбал со свернутым носом.

— Хват, не перебивай, — повысил голос главарь. — Да, Сажин, скажи, что там на разводе говорил Демченко, будет еще пополнение?

— На разводе только меня в комроту отправили, — сдавленно, но дерзко ответил Сашка. — Больше ничего не знаю.

Его не отпускала тревога — до последнего надеялся, что пошлют на заставу, и теперь, когда не подфартило, не знал, как себя вести в новом окружении.

— Нам троим кровати еще заправлять будешь, — прорезался третий — накачанный коротышка с мордой как у мопса.

Голос у коротышки был злой, одновременно хриплый и тонкий.

«Те двое еще ничего, а этот — гнус», — подумал Сашка.

— Да, Сидор, молоток! Хорошо придумал, — загыгыкал Хват, — кровати заправлять, еще сигареты добывать...

Будь сейчас другая ситуация, Сажин бы улыбнулся — рядом эти двое из ларца смотрелись причудливо: великан и карлик. И в то же время чем-то похожи. Если бы Хват ненароком попал под кузнечный пресс, точно получился бы Сидор.

Коротышка, гадко ухмыльнувшись, вдруг огорошил вопросом:

— Сколько?

Сашка растерялся и переспросил:

— Сколько... времени? — И начал задирать левый рукав, чтобы взглянуть на подаренные дедом Егором часы.

— Сколько старому до дембеля осталось, — рассердился Сидор. — Не тупи!

Сашку еще в учбке сержанты предупреждали об этом дурацком вопросе, готовя к тому, что на заставах и особенно в гарнизонных ротах будет, по их словам, «дедовщина». Молодежь вроде как должна была считать дни, которые остались старослужащим до приказа. Еще было очень много этих дней — двести с лишним. Сашка не помнил.

— Э-э, воин, а ты че в «котлах»? Командирские, что ль? Дай заценить... Снимай, снимай... На первом году часы ваше не положено. — Хват слез с подоконника и протянул ручищу.

Салгалов поддакнул:

— Будет тебе урок! За то, что не помнишь, сколько осталось, забираем «котлы» себе...

Сашка расстегнул ремешок, протянул вниз циферблатом, чтобы увидели надпись на крышке. «Старики» сначала не поняли, в чем дело, тупо читали по очереди несколько раз и вдруг все вместе засмеялись.

— Не-е, — Хват поморщился, — мне запаadlo котлы с такой надписью носить.

— Да-а, — мерзко и весело протянул Сидор. — Запаadlo.

— Запаadlo? — Салгалов выхватил у Сидора часы и швырнул об пол.

Странный звук — будто чиненая пружина снова отлетела — сломалось что-то в старом механизме. Сломалось в тот момент что-то и в Сашкиной душе.

— Запаadlo? Запаadlo? — все больше распаяясь и уже почти истеря, повторял Салгалов. Он хрястнул по циферблату каблуком. — Запаadlo не знать, сколько осталось старому! Запаadlo носить часы на первом году службы! Запаadlo!

Он отбивал чечетку на осколках, шестеренках, винтиках. Свалаясь пыльный ремешок, откатилась куда-то крышка с гравировкой:

— Запаadlo!

Даже Хват с Сидором с недоумением наблюдали за истерикой своего заводилы. И не замечали, как неузнаваемо меняется в лице молодой и, на первый взгляд, робкий Сажин.

В эту роту — комендантскую — Сашку распределили после учебки, и, хоть просился он у замначштаба майора Демченко на любую линейную заставу, навстречу ему не пошли, — умудрились впихнуть его, молодого, причем одного-единственного, в то подразделение, которое больше всего на виду у гарнизонного начальства.

Чем уж он так в штабе приглянулся или уж скорее, наоборот, не угодил — Сашка не понимал. Все офицеры как один, едва его завидев, кричали: «Сажин, ну и репа румяная!», «Сажин — небось, деревенский?», «Морда у тебя, Сажин, кровь с молоком!», «Все м братъ пример с рядового Сажина — так и должен выглядеть образцовый солдат!»

Неужто всего лишь за здоровый цвет лица ему так не повезло? Начальству так важно, чтобы караульные при штабе были крепкими и румяными?

И все всегда называли его по фамилии — Сажин да Сажин... И молодые, и старые, и офицеры, и даже женщина из лаборатории в санчасти, коловшая новобранцев в палец.

«Имя свое там забудешь. В армии только по фамилии...» — так и предупреждал Егор Петро-

вич внука, вытаскивая из своей памяти подробности подзабытых фронтовых будней. Еще дед любил рассказывать, особенно выпив на праздничных застольях, когда собиралась в их доме в Самойловке вся окрестная родня, как его полк в войну освобождал Освенцим, и, в тысячный, миллионный раз избавляясь от морока виденных им трупов, описывал всё до жестокости подробно, закатывая к потолочно-му брусу глаза, в которых начинала туманиться старческая синева. Егор Петрович не замечал, как дочь пихала его локтем в бок, и улыбался внутреннему калейдоскопу проскочившей жизни — не понять было, что ему представлялось в тот момент, когда он пояснял бабам, насаживающим холодец на вилки, чем крематорная топка в концлагере по своему устройству отличается от русской печи. Улыбался, а у самого дрожали кисти рук, и вилка звенела о старую эмалированную тарелку.

Последнее застолье было на седьмое ноября, на праздник, который в селе неизменно называли «Октябрьская», — за месяц до того, как внук с кружкой, ложкой и трехдневным запасом харчей отбыл к месту службы. Санек в этот красный день календаря как раз родился. Погалдев, выпив за Сашку и его маму, гости принялись за горячее — была утка с капустой и дымилась отварные картофелины с укропом. В тот вечер Егор Петрович подарил Сашке свои командирские часы со светящимися стрелками:

— В армию возьмешь, там пригодятся.

Когда накануне он ездил в Балашов в часовую мастерскую чинить механизм и заказывать дарственную гравировку, его там отговаривали:

— Зачем новобранцу в армии часы — отберут ведь.

— Не отберут, с такой гравировкой старослужащие не посмеют, — довольно усмехался дед и перечитывал черненую надпись на серебристой крышечке. Выведенные строгим шрифтом буквы складывались в изящную надпись: «Молодому бойцу от деда».

— И правда, двусмысленно, — отметил мастер с улыбкой, можно и так понять, и эдак... Каждый дембель «дедом» себя мнит, «старым», — а тут «молодому бойцу», над дембелем свои же смеяться и начнут, если в таких часах ходить будет.

— То-то же, — хвалился дед Егор. — О как я придумал!

Три месяца с самого первого дня в армии Сашка сверялся со светящимися стрелками, и были они для него той ниточкой, которая связывала с домом: у кого-то фотография любимой, еще у кого-то — мамин крестик, а у него — дедовы командирские часы.

Когда машины, пара «уралов» и шестьдесят шестой «газ», привезли пополнение прямо с поезда на вычищенный плац и туда же, на хрустящую заснеженную твердь, всех новоприбывших выгрузили из машин вместе с сумками, было еще интересно. Даже любопытно было, что же ждет саратовскую команду дальше. И главное, что заботило многих — когда выдадут обмундирование.

— Через полчаса выдадут, — сообщил сержант, который вез их в поезде. — Не спешите, надоест еще форма, мечтать будете одеться в гражданку...

«Полчаса, — подумал Сашка и глянул на часы. — Дед, слышь, через полчаса стану солдатом. Как ты и хотел».

2

К призывному пункту Саратовского облвоенкомата подогнали заказной автобус. Он стоял в клубах вонючего бензинового дыма и ожидал пассажиров довольно долго — под задним бампером от сизых выхлопов уже потемнел асфальт и накапало радужную лужицу. Каждый из отъезжающих обязательно приводил с собой группу. В основном это были родные: матери и бабушки, реже — отцы с дедами, тетки; через раз попадались любимые девушки с непременными клятвами дожидаться, и самой многочисленной группой, которая непонятно кого провожала, были молодые веселые горлопаны из числа друзей. Один из призывников, чернявый, с усиками и модной чёлкой на глаза — таких девки любят, — бренькал на гитаре песенку про путану: «Меня — в Афган, тебя — в валютный бар...» Ребята подпевали — кто-то даже жалел, что Афган кончился — не погеройствовать! Ещё обсуждали насущное: в каких краях находится таинственный посёлок Балакурты, в который

отправляют их служить. Сошлись на том, что по звучанию, наверно, ближе к югу: «какой-нибудь Таджикистан, не иначе...»

Сашка провожал себя сам — дед привез его заранее и, сдав дежурному, ушел, чтоб не пропустить маршрут «Саратов-Аркадак», который пролегал через Самойловку. А то пришлось бы Егору Петровичу плестись семь километров, а у него больные ноги.

Когда автобус с призывниками тронулся с места в сторону железнодорожного вокзала, сопровождавший команду капитан-пограничник собрал военные билеты, что в обмен на паспорта выдали всем на руки буквально за полчаса до отъезда, и стопкой убрал их к себе в портфель.

— Товарищ капитан, а дынями на заставе кормят? — спросил Сашка, размышляя о том, как обустроен быт на таджикских границах.

— Че-ем?

— Дынями, — вздохнул Сашка.

— Дыни в Заполярье, к сожалению, не растут. А ягодным вареньем и грибами, которые вы сами соберете, сварите, засолите, кормят.

— В каком еще Заполярье? — Сажин подумал, что, может быть, не тот автобус или команда не его.

— В Мурманской области. В Алакургтинском отряде.

Вот оно что. Алакургти — Балакурты, юг, тепло. Да, дела-а...

— А у меня даже теплых носков нет, — сказал Сашка.

— Дадут портянки, — успокоил капитан.

— Размер? Какой размер? Воин, тебя спрашивают!

— А фуражки когда?

— Сорок три.

— Товарищ прапорщик, а почему шинель без пуговиц?

— Подвяжи простыню, неча хозяйством передо мной светить.

— А других шапок нет?

— А погоны?

— Подойдет, натянешь!

— Белье надевай сразу — и кальсоны, и рубашу! Теперь — зимнее! Живее, боец, как там тебя... Сажин! Отмечаю — бельё получено. Простыню кидай сюда!

Сашка вздрогнул — в оживленной многоголо-
сице спортзала, временно превращенного в
пункт выдачи обмундирования, сейчас обра-
щались к нему. Начал спешно натягивать бе-
лые хлопковые кальсоны с пуговицей. Рубаху.
Так, зимнее... Трикотажная фуфайка цвета не-
бесных послегрозных просветов застряла на
влажной бритой голове — ни туда ни сюда.
Улыбался в морщины прапорщик, смеялись
дежурившие в зале сержанты, ржали новобран-
цы. Повеселил народ рядовой Сажин. Натянул
все-таки вещь и с бирюзовыми катышками,
прилипшими к черепу, направился получать
камуфляж. Присмотрелся к своим, — оказа-
лось, что у всех на головах такой же трикотаж-
ный начес: друг на друга пальцами показывают
и веселятся поволжские ребята.

Сначала в раздевалке всех стригли под ноль
ручными машинками и отправляли, как выра-
зился торчавший здесь усталый майор — нач-
мед, — на «санобработку», которая оказалась
просто холодным душем.

— Солдат, в часах мыться собрался? Снять
часы! Отправишь посылкой домой, — крикнул
майор.

— Амфибия, — фыркнул Сашка, забегая под
струю воды.

— Что сказал?

— Часы-амфибия. Командирские — не на-
мокнут. Дед приказал не снимать.

«Ну попади только ко мне в санчасть, шуст-
ряк, — пробормотал опешивший офицер, —
попробуй только заболей... Амфибия...»

Сашке не привыкать — закаленный в деревне,
приученный мыться колодезной водой, он кря-
кал, пока тонкая ледяная струйка точила бри-
тую голову. Только вот склизкого дегтярного
обмылка, что вырывался у всех из рук на рыжий
плиточный пол, ему не досталось. После выда-
ли по простыне и по листку со списком:

— Та-ак, бойцы, вытираемся, заматываем
срам — и бегом получать форму!

В спортзале было подготовлено несколько
развалов со складским добром: шинели, наки-
данные ворсистыми скрутками; черные сви-
ной кожи сапоги-заполярки, сшитые попар-
но; белье нижнее белое и с начесом, белье
утепленное синее; ремни со сверкающими
бляхами, длинноухие страшные шапки с завя-

занными ушами и отдельно — камуфляжные
костюмы с иголки — мечта «стариков», гото-
вящих себе амуницию на дембель. Прапорщи-
ки, вооружившись планшетками и каранда-
шами, занимались выдачей, сержанты нап-
равляли людской поток. Между вещами и лы-
сыми, как яйцо, новобранцами, на разные ла-
ды замотанными в белые простыни, сновал
фасонистый офицер — опять же с майорской
звездой — из роты материального обеспечения
и деловито ступал сам подполковник Тарасов
— грозный вездесущий начштаба.

— Сперва — вещмешок! — гаркнули Сашке в
правое ухо, в котором после бодрого душа сту-
денной пробкой застряла вода. Он подал список,
— напротив первого пункта поставили галочку,
— и, кружа по залу, одеваясь и постепенно об-
растая имуществом, ходил от горки к горке, по-
ка наконец не получил шинель.

А скольких трудов ему стоило ее обшить!

— Эх-х, опять иголка сломается, — досадовал
он на крепкое шинельное сукно.

Полупришитый погон оттопырился, торчал
зеленым крылышком, нитка запуталась, увязла
узелком в плотной ткани.

— Бери лезвие, отпарывай и пришивай по но-
вой, — подсказал сержант, назвавшийся Димой,
— и поживей давай, тебе еще петлицы, пугови-
цы, не тормози...

— А иголки есть еще?

— А на тебя не напасешься, сколько сломал
уже? Все шьют — никто не ломает, один ты... На,
держи. Сломаешь — пойдешь туалет мыть.

Весь первый день службы саратовские но-
вобранцы промаялись, доводя до ума форму, по-
лученную накануне. Полный комплект — зим-
нее, летнее, парадное. Все оказалось полуфабри-
катом — без пуговиц, петлиц, погон, шевронов,
знаков отличий. Кокарды для фуражек — и те вы-
давались отдельно, вместе с крабиками и пугови-
цами. Вымеряй линейкой сантиметры, отступы,
сверяйся с уставами, куском мыла ставь метку,
как заправский портной, и потом знай себе отма-
тывай с двух здоровых промышленных катушек
— белой и черной — ниток сколько надо, ищи иг-
лу и сиди шей. Накануне перед отбоем в мыльни-
цах разводили известку — маркировать вещи, и
каждый тщательно спичиной выводил свою фа-
милию на подкладках.

Сержант Меркулов, которого на период карантина назначили молодым бойцам не то в командиры, не то в няньки, в принципе, был ничего — нормальный, душевный. По неуставной моде к поясной петле у него был приторочен складничок на длинной цепочке — поиграться. Дима его изредка открывал, для понту покручивал им в воздухе и втыкал в истертый от мытья дощатый пол.

«Покрасить бы надо полы в казарме», — подумалось Сашке, он вспомнил сразу, каким нарядным охристым глянец светились дома доски, особенно перед праздниками, когда мама, бывало, пройдет влажной тряпкой.

— Та-ак! — опробовал сержант командирский голос.

Вышло не очень. Тогда он выпрямился, встал ухарем посреди бытовки, шапку сдвинул далеко на затылок. Руки в карманах, и поверх расстегнутого ворота болтается на шнурке полированный патрон калибра «пять сорок пять». Вот теперь сразу видно, что как минимум год службы у парня уже позади.

— Ну-ка, джинны и духи! Слушайте и повинуйтесь!

Народ оторвался от шитья неохотно: чего, мол, тебе надобно, старче, — некогда ведь, спешим.

— Пока все не пришьете, спать не ляжете, воины! Обмундирование проверю, что у кого не так — будете переделывать.

Сашке, сколько он ни старался, не поддавалась шинель. Исколол себе пальцы в кровь, а когда догадался давить иглу пуговицей, начали ломаться игольные ушки.

Кое-как доделал все последним, уже под ропот и шипение своих земляков — спать все хотели. До подъема-то часа четыре оставалось.

«Один замешкался, а всех сна лишают. Почему так? Неправильно это, — думал Сажин. — Скомандовали бы всем отбой, а меня оставили потихоньку дошивать».

«Карантин, подъем!» — промычал на дальнем выпасе за речкой Еланкой совхозный бык в Сашкином сладком сне. «Чудно», — не просыпаясь, подумал парень, а бык тем временем появился совсем рядом и страшной тупой башкой с костяным наростом начал бодаться.

— Подъем! — бил Меркулов чищеным сапо-

гом в Сашкину койку — даже с верхнего яруса Лакша свалился. Лакша — это фамилия, саратовец он, городской, — гопник с набережной. Это он играл на гитаре «Путану», когда в военкомате ждали погрузки в автобус. Разговорились с этим Лапшой-Лакшой, пока всей командой ехали в поезде — в плацкартном вагоне, перекрытом с двух сторон. У Лакши — с усиками и цыганистой вороной челкой на коровьи глаза — тот еще видок был, пока не обрили, — теперь смешно на него смотреть стало, как другой человек — ущербный подросток без волос.

А по соседству уже вскочил и неумело намазывал портянки Спонсор — еще в военкомате кличку получил модную, из нового капиталистического обихода, но не за то, что щедрый, а за толщину морды. И по всей площади казармы, со всех рядов и ярусов поспрыгивали, заметались в белых кальсонах всполошенные люди. Хватали с табуретов камуфляжи, ремни, шапки. Ночью все лишнее, что подшивали минувшим днем, что не пригодится зимой в учебке, сдали каптеру на хранение.

— Карантин, строиться!

Меркулов бодрый, улыбается, а ведь тоже не спал. Начифирился, небось, с каптером, ножичек кидает в пол.

— Вам повезло, — сообщает, — пока вы в карантине, утренней зарядки у вас не будет. Сорок минут даю на умывание, заправку кроватей, чистку сапог. Потом построение — в ПМП идете на медосмотр и сдачу анализов. Натощак пойдем, завтрак — позже. Мойтесь чище. Лаборанты у нас женщины, и смотреть в микроскоп на тысячи загубленных жизнью им неприятно.

Казарма наполнилась густым гуталиновым духом. На сапогах этот казенный запах разнесли по всем углам, напитали им половицы, даже, казалось, хлорка в туалете отдает сапожной ваксой. И все же новобранцы оживились — в гарнизоне, оказывается, есть женщины!

Около умывальников началась перепалка. Тем, кто просто умывался, в основном деревенским, не понравилось, что рядом кто-то, расстегнув штаны, неуважительно «сорит срамом в раковину» — моется перед сдачей анализов. Чуть до драки не дошло. Двоих крикунов

охладил Меркулов — вылил на кафельный пол тазик мыльной воды и велел подтирать.

Все здесь оказалось не таким, как Сашка представлял себе, когда дед рассказывал ему про армию, про войну. Даже о походной каше Егор Петрович говорил вкусно, со вкусом. Еда в родном селе Самойловское, — в Самойловке, если по-простому, — тоже небогатая была, но если каша, так с душой и с дымком, а не как в части — клейстер, и если щи, то по всем правилам — чтобы со сметаной и ложка в миске стояла. А то хлебово, которым здесь, в гарнизонной столовой, теперь Сашку кормили, и щами не назовешь — так, супец в голодный год дохлону поросенку. Всё в армии по команде и только строем, душе не развернуться, и глазам — ни простора, ни красоты. Забор с колючкой по верху, и из серого кирпича трехэтажные длинные корпуса. Штаб, клуб, склады, казармы, медпункт — не разобрать с непривычки, где что, — все казалось одинаковым, будто короткой щеткой-шваброй, прозванной солдатами «бэтээр», начисто вывели, выдраили, вытравили отсюда все яркое и вольное.

Об этом заполярном гарнизоне говорили так: куда ни плюнь — попадешь в майора. Они тут были разные: худые, толстые, здоровяки и «соплёй перешибёшь», увальни и шустряги; чернявые, блондины, седые; попадались бритые наголо и со старческими залысынами, — но практически все поголовно в этом звании носили усы.

Майоры начальствовали на заставах, кроме самых обширных и тяжелых участков, — туда отправляли спортивных молодых лейтёх, — майоры гоняли в штабе чай с пряниками и командовали отрядными ротами. По своим казенным квартирам в поселке одни втихую глушили водку, другие долгими полярными ночами уговаривали жён подождать еще год-другой перевода с повышением на новое место: в штаб округа, а то и в одну из столиц. И с трудом верилось, что эти одинокие пьяницы и трезвые семьянины, чинодралы и разгильдяи, добряки и злыдни, — как минимум через одного прошли за время своего лейтенантства Афган, имеют не по одному ордену и ранению.

Ночь вошла в свой самый темный период — декабрь, полярное сияние изумрудными питонами почти уже удавило солнечный свет, на долю короткого мглистого дня осталось три часа в сутки. Служебные будни тянулись своим чередом — скоро Новый год, а осенний призыв продолжался, военкоматы все еще поставляли в учебки партии разномастных мальчишек, юношей, мужичков — на трехмесячную переплавку в однородную зелень.

Начали в карантинную казарму захаживать с рекламой «покупатели» — сержанты и офицеры из учебных рот, в которые по истечении десяти дней весь саратовский призывной поток должен был влиться мелкими ручейками, перемещаться с белгородцами, карелами, сибиряками, ну и питерской да московской братией, разумеется — куда ж без них, без пиявок.

В Самойловке не любили москвичей — если кто хоть на время попадал в Москву и жил там, а потом возвращался, его уже за своего не считали. Портился народ в столице, приезжали оттуда чужими и странными, нахватавшись дурных привычек и гонору. Егор Петрович съездил разок к дальней родне в Первопрестольную и рассказывал потом, что встретили его плохо, намекали, что тесно и надо б ему в гостиницу, а на какие шиши? Это в столице все стали в «доллерах» получать, миллиончики, а в селах работа, какая была, вся кончилась. Или паши за гроши, или иди воруй. Переночевал у тех родственников, как собачонка, на матрасике в прихожей и, обиженный, — восвояси. А на рынках-то у них есть все, что хочешь, и дешево. И самое дерьмо из того, что у них там продают, везут потом в провинцию, на Балашовский базар, к примеру, и втюхивают втридорога. Пиявки, одним словом!

Даже странно, что сержант Меркулов москвичом оказался. Неплохой парень-то...

— Товарищ сержант, — начал Сашка по уставу, как уже научили. — Разрешите обратиться!

— Обращайся, — кивнул Дима Меркулов.

Димой он успел для всех побыть только в первый день — потом началась муштра, и за фамильярность многие уже успели поплатиться — стараниями наказанных помещения сияли чистотой и пахли мылом.

— Вы здесь только на карантине сержантом или останетесь в учебных ротах?

— После карантина я в сержантской школе буду делать из вас спецназ, — ответил Меркулов и громко, чтобы все слышали, крикнул: — Бойцы! Кто хочет стать настоящим рейнджером, научиться стрелять из всех видов стрелкового оружия, из пулеметов с двух рук, добро пожаловать в школу сержантского состава!

С этого и началось. Потом от связистов пришел лейтенант и рассказывал про телефонные станции и радиосвязь. Капитан-собачник напирал на романтику и любовь к животным. Не забыл упомянуть, что, по статистике, правда, лет на тридцать устаревшей, чаще всего задерживали нарушителей именно кинологи собачьей службы. И Сашке захотелось стать кинологом. Потом он чуть было не записался в роту трактористов-дизелистов, к деревенского вида майору — думал, с таким-то найдет общий язык, но все же решил повременить, утаил, что умеет немного управляться с трактором — «рано ещё, осмотреться надо...»

В водители бы он пошел сразу, — «вон как лихо крутят баранку самойловские шофера», — но туда брали только тех, кто с правами, а у Сашки и на трактор никаких прав не было — мужики в совхозе научили за рычаг дергать, да и все.

«Пойду все-таки туда, где Дима Меркулов будет сержантом», — определился рядовой Сажин к десятому дню. Это был последний день карантина, к вечеру молодых бойцов уже ждали в профильных казармах учебных рот.

В полдень их вывели на плац и построили.

Сашка задумался — просто отвлекся на падающий снег и забыл, что задумчивых в армии не любят.

— Рядовой Пупкин! — неожиданно окликнул, обдал его паром изо рта огромный и плотный майор Скотников, начальник сержантской школы. Усы — ежом, брылястое бордовое лицо с ростками седоватой щетины по щекам — такую не взять ни лезвием, ни электрической бритвой. Глаза настолько мелкие, что в них ничего не прочтёшь. Шинель с португеей и форменная офицерская шапка с голубым плюшевым отливом казались меньше, чем нужно бы на такую фигуру, — будто их силой натянули на безразмерный соломенный куль, на каких в

старину отработывали штыковую атаку. Добавив еще пару крепких слов, майор угрюмо навис над рядовым — ждал ответа по уставу. Лицо из бордового становилось малиновым, потом свекольным, и частый злой пар валил уже из ноздрей, оседая инеем на ремнях, пропущенных под погоны. А мороз-то крепкий! На текущие сутки Скотникова назначили дежурным по учебному пункту, и перед обедом на плацу он решил устроить смотр: начищены ли сапоги и бляхи, у всех ли застегнуты под кадыками крючки, изучен ли устав.

Сашка хоть и из села, вроде привычный, а мать не любил. Особенно не выносил, если ругательные слова бросают в его адрес.

«Матерщина — это же про стыдное, об этом вслух нельзя», — еще пацаном одернул он кого-то из старших в своей Самойловке. И в ответ, на удивление, умолкли. Наверно, с тех пор в родном селе его начали сторониться, не принимать в компанию, избегать.

Сейчас он чувствовал, как, если бы ему кто оплеуху отвесил, горят его и без того красные щеки.

— Боец! Звание, фамилия! Быстро! — рявкнул майор и, окончательно выйдя из себя, снова матерно выругался — как грязью выстрелил.

По уставу, когда идущий вдоль строя офицер перед кем-то из солдат останавливался, нужно было назвать фамилию и звание. А Сашка и не заметил, как майор затормозил в аккурат перед ним, пропустил этот момент — сперва следил, а потом внимание перескочило на снег, который искрился в синем воздухе мелкими иглами, покалывал лицо, сыпался сзади на голую шею между шапкой и воротником бушлата. Темновато было в этом Запоярьеве в декабрьский полдень.

— Рядовой Сажин, — наконец выдавил из горла Сашка и стал навтытжаку.

Скотников дернул носом, губой, скривил рот: — Выйти из строя!

Как положено, солдат вышел и развернулся к строю лицом. Зябко на белом плацу без соседских бушлатов, что грели в шеренге слева да справа. Майор обошел кругом и, наверно, не найдя, к чему придраться, — все у Санька как надо, все подогнано, — вдруг ослабил его на весь карантин:

— Таким, как рядовой Сажин, — который зевает в строю, — делать в школе сержантов нечего! Встать в строй, солдат! Где только щеки такие отрастил — как помидоры!

«Скотинников тебе фамилия, а не Скотников. На бычару нашего совхозного похож», — подумал Сашка о майоре.

«Перелома нет, просто трещина, а рану зашьем, заживет», — сказал тринадцатилетнему подпаску врач самойловской больницы. Санька, после того как бросил школу, помогал пасти dedu совхозное стадо и так же, как во время смотра не заметил Скотникова, так и тогда проглядел быка. Рог ударил по ребру вскользь, но кожу с мясом распахал. В общем, царапина — повезло! Егор Петрович с собаками и умелым «пристрелянным» кнутом быстро подоспел на выручку — спас внука. И хороший в их больнице врач работал, на все руки мастер — дал медицинского спирта, хлебнул сам и, из того же флакона щедро промыв рану, виртуозно сшил края.

«В сержанты путь закрыт. А ну вас всех! — крутанулась мысль в бритой голове. — Куда сами на обучение назначите — туда и пойду».

Его распределили в учебную роту связи.

Знающих, как выглядят диоды с триодами, оказалось на весь призыв немного, и роту доукомплектовывали, сливая в неё весь, по выражению майора Демченко, «неопределившийся сброд».

Демченко имел орден Красной Звезды за интернациональный долг, осторожные олени ноздри — чуют ветры, дующие в штабных кабинетах, и черные, обувной щеткой, усы.

По должности он был замначштаба, второй после Тарасова человек, и этой штатно-кадровой единице, по сложившейся в Алакуртти традиции, шел в подчинение на два квартала в год весь учебный пункт, — кроме сержантской школы, в которой бесценно владычествовал Скотников.

И офицеры — из тех, кто давно служил в гарнизоне и помнил Демченко другим, — удивлялись и не верили, как полевой лейтенант, герой Афгана, за каких-то несколько лет может превратиться в чутыистого карьериста-штабника, которому лишь бы, как в курятнике, — забраться на жердь

повыше и гадить на тех, кто остался внизу. Юные лейтенанты-романтики, вроде выпускника московского погранучилища Рудакова, генеральского сына, мечтательно решившего продолжать династию, — те вообще наивно верили, что геройство на всю жизнь, что если подвиг, то им освящена вся планида, и что боевой орден не может уже открыть перед человеком иных дорог, кроме пути особой ратной аскезы и бескорыстного служения. На то он и орден — древний символ принадлежности к кругу рыцарей-монахов.

Но жизнь, странная, нелепая, новая, запах перемен, смешивающих в своем вихре доблесть и колбасу, воинский долг и теплые квартиры, да что там говорить, — меняющих слова в гимнах и тексты присяг, — вносили свои коррективы, меняли, ломали, лукавили людей, очаровывая и разочаровывая, заставляя, как хищников, — «выжил в схватке — теперь жри!» — крутиться, алкать, приспосабливаться, в общем, — как ни странно звучит, — снова выживать... Неужто новое время — последние перестроенные пять лет — так переродило людей, переделало человеческую природу, что везде — во власти, в КГБ, в милиции, армии, даже на селе, в совхозах, — стали все уже не люди, а оборотни... Вчера — парторг, сегодня — Родину на торг...

А может, оно всегда так было и человеческая природа такова и есть от создания — повоюет эдакий молодец Демченко, насвершает подвигов, получит в награду спелую, в теле, невесту-парикмахершу, а дальше — сказка кончилась, и «жили они долго и счастливо» — рожали карапузов, пробивали себе удобное жилье, чтоб сортир в нем не холодней, чем у других, да должность для бывшего доброго молодца, а теперь уже штабного интригана — послаще, к царскому столу поближе.

В рядах «неопределившегося сброда», зачисленного в учебную роту связи к какому-то невзрачному медлительному капитану Иванову, оказался и рядовой Сажин.

Извне подумалось бы, что обвык и втянулся — с трудом, конечно, не без «залетов», как здесь принято было говорить — и «тупил», бывало, и «косячил», — на занятиях в профильном классе, в строю, в бытовых мелочах — и так над ним потешались все, включая командира, что иной раз начинал он глупить даже на бис, — пусть уж смеют-

ся и подкалывают, лишь бы не ругали и не матерились. А вот внутри себя, в сердце, все воспринимал в штыки и против всего восставал душой. Коллективизм навязанный, строевое единство из-под палки конфликтовали в Сашкиной голове со степной вольницей и свободой быть самим собой. Но где нужны были сила и выносливость — там отыгрывался за весь казенный гнёт, туда направлял всё своё закованное в кандалы бунтарство. Пробежит дистанцию первым и отстающих дожидается, на свои часы-амфибию посматривает. На лыжном марш-броске по окрестностям — это был первый выход всего учебного пункта за пределы части — Сашка неизменно шел в авангарде растянувшейся вереницы молодых бойцов, успевая к тому же поглазеть на чудной северный ландшафт. Форсировали озеро в тихие безветренные минус двадцать, когда в три часа пополудни начинало уже смеркаться. На заснеженную гладь, разлитую во все стороны, с берегов безмолвно хмурились сопки. Косматый, в заиндевелой шкуре из мелких сосенок шаман, выпучив валунами каменные глаза, смотрел на противоположный берег, где, укрыв хвойным пологом пару рыбацких построек, невысокая, другого, видно, племени, гора-девица зачерпывала базальтовой ладонью замерзшую воду.

За час до озера на склоне сопки был привал с костром. И у Сашки взорвалась фляга с чаем — положил на тлеющую головешку погреть, а крышку отвинтить забыл. Хлопок переполошил всех так, что подумали — граната. А капитан Иванов оказался мужик с реакцией и юмором: сразу просёк, что к чему, скомандовал «Газы!» — не пропадать же даром такому случаю! И до берега со склона бежали с лицами, обтянутыми горько пахнущей тесной резиной, надрывно трубя в гофрированные хоботы. И рядовой Сажин — быстрее всех. Только в самом низу, на льду уже, поступила команда противогазы снять. Паренек из Питера, что был у них за художника, намалевал на следующий день в боевом листке карикатуру — атомный взрыв из разорванной пополам зеленой фляжки, а рядом Сашкин портрет: воротник бушлата, над ним помидорами щеки, над щеками — испуганно вытарашенные глаза, и поверх — шапка. А вместо ног — лягушачьи лапы с перепонками, на одной из лап часы и подо всем подпись — «Амфибия».

В довершение в понедельник на разводе на плацу поглумился Демченко:

— Нам, — говорит, — даже в штабе слышно было, чуть гарнизон в ружьё не подняли! Пару нарядов бы тебе, Сажин, вне очереди, но, паразит эдакий, лучшее время показал и всю роту за собой на первое место вытянул...

Сашке бы в самый раз на дальнюю линейную заставу, чтоб там рядом с природой, как в деревне было — распахивал бы на тракторе контрольно-следовую полосу, в сопки бы в дозор ходил — лыжню после снегопадов прокладывал... Возили их на две недели на стажировку — понравилось. Собаки, коровы были на заставе, ребята деревенские, простые служили там и между собой и с начальством общались хоть и без особого устава, но и без дедовщинной гнили — по-хорошему, по-семейному. Помогал Санек кочегару баню топить и парил всех подряд — своих, заставских, офицеров — березовыми вениками. И еще корову доил. Старшина советовал ему: «Будут распределять — просись у замначштаба к нам. Скажи — от Грачева поклон. Вместе Афган прошли».

Да на беду Демченко рядового уже приметил и виды на него имел по другому поводу: приглянулись Сашкины физкультурные успехи — особенно в сдаче нормативов — намотал на черный ус и своему другу капитану Маслоку, не так давно разжалованному из майоров за пьяный дебош в офицерской столовой, посоветовал крепкого парня взять к себе в комендантскую роту. Грядет весенняя проверка — авось снова выйдет личный состав на первые места, хотя бы по спортивным показателям, — тогда, глядишь, и восстановят друга в звании.

Майор Маслоку иногда сильно запивал — службе это, как он думал, не мешало — рота в периоды его возлияний держала как могла свой внутренний порядок, и днем, со стороны, казалось, что всё как всегда — молодецватые, вымуштрованные солдаты, всегда опрятны, сами ходят в караул: охраняют гауптвахту, выставляют дежурных на КПП, часовой у знамени недвижим и не моргает, а рыжие тулупы в валенках и с автоматами неизменно вперевалочку двигаются — хоть часы сверяй! — по периметру вдоль колючки. Майор-капитан пьет, в ус не дует — служба идет, хороший солдатский костяк в роте

подобрался — сами за порядком следят. Одни Салгалов, Сидоров и Хватов чего стоят — орлы! И теперь еще молодого да румяного Сажина из учебки подогнали — загляденье, а не солдат! Десяток бы таких!

Старослужащим «орлам» тоже хотелось, чтобы молодых было хоть с десяток, а то Сажин, после того как в каптерке растоптали его часы, вдруг вздумал «зашарить» — слушаться перестал и наотрез отказывался выполнять всё, что исходило не от офицеров.

Даже Маслюку донесли, и «капитан-майор» построил роту в казарме и «принялся не то орать, не то лаять, как лают, огрызаясь, побиваемые хлыстом овчарки на спецдрессуре. Ничего было не разобрать, но общий смысл и так понятен: Салгалов — командир отделения, Сажин — подчиненный. Изволь, салага, выполнять что прикажут!

— Слышал, что Маслюк сказал? — «гармонист» цвел от счастья от собственной значимости и от предвкушения сержантских лычек.

Сашка сглотнул горечь:

— Поживем — увидим!

— Ну-ну...

Ночью его пинком разбудил Сидор:

— Иди к Салгалу, зовет.

Сажин в полусне поднялся, пошел к салгаловской кровати:

— Чего разбудили?

— Расскажи, Сажин, дедушкам сказку на ночь, мы послушаем... — главарь садистски улыбался, подмигивая кому-то невидимому, кто притаился у Сашки за спиной.

— Не буду.

Последовал тычок в спину. Кто там озорует — Сидор или Хват? Окружили...

В селе к Сажину подойти боялись — дураков побивал, а умные не лезли. А эти — не поймешь, дураки или умные. Что подлецы и трусы — это понятно. Что делать-то?

— Расскажу, — согласился он нехотя. — Сказок я не знаю, расскажу другое...

— Давай, только чтоб интересно было.

— Про свою первую бабу расскажи, — гыгыкнул кто-то из темноты.

С подушек начали поднимать головы и другие солдаты, — послушать, что молодой говорить будет, угадать, чем весь спектакль закончится.

— Нет, про бабу перебьетесь, — огрызнулся Сашка, не к месту пожалев, что никакой бабу у него еще и не было.

Он рисковал совсем вывести дедов из себя, но стало почему-то все равно, что произойдет дальше.

— Про белого бычка расскажу... Или про трех поросенков с комендантской роты...

— Ты че сказал, боец? Нюх потерял? — у Салгалова получилось шепотом зловеще завизжать. И началось...

Сзади его пихнули сапогом под колено и попытались свалить на пол, но Сажин, отмахнувшись, удержался на ногах, устоял. Теперь ясно было, что за спиной Хватов — облапил и давит к полу. Сидор короткими плотными ножками, как копытцами, резво метит Сашке в пах — обозленную мопсовую ряжу коротышки хорошо видно в синеватом дежурном освещении. Салгал примеряется, лупит с оттяжкой в грудину. Сажину не больно — он словно в тумане, но немного подташнивает от тех ударов, которые он не успевает отбить. В лицо специально не бьют — чтобы не видно было следов. Хватов держит крепко — не руки, а хомут. Опять исступленно пнул Сидор. На этот раз в паху зажгло, тупо прокатилась муть от пояса вверх по пищеводу и горечью вышла в рот. Сашку вырвало. И на этом сразу все кончилось — его отпустили, бросив как мешок на пол, все от него тут же отпрыгнули, отпрянули, зашептались:

— Че с ним, че?

— Эй, Сажин?

— Вставай! Кому грю!

— Что делать-то будем? В ПМП его надо.

— Эй!

Сашка в полушоке произносил ругательства — и не хочешь материться, а научись! — и слышал солдатские шепотки.

— Ну что, Амфибия, сладкий ты мой, — сказал майор в санчасти, вколос Сашке обезболивающее, — наверно, бубенцы тебе подпортили товарищи твои... Звенеть теперь не сможешь. На операцию отправим в Москву — видимо, отслужил ты уже...

Станный был этот начмед — женоподобный, слащавый, не иначе как «маня-ваня». И тогда, на «санобработке», когда новобранцев в душ

отправляли, видать, неспроста маячил, — на голых мужиков, наверно, смотреть любит.

А теперь и он, Сашка, пока еще не «маня», но и «ваней» не назовёшь с отбитыми-то, как выразился майор, бубенцами — не дай бог, отрежут ещё — как он теперь к самойловским девкам подойдёт! Лучше б сразу убили в казарме, заклевали б до смерти комендантские «орлы».

И недели не отслужил Санек в новой роте — один раз в караул ходил часовым. Была ночь, какие он любил, морозная и ясная. И если б не слепили прожекторы, освещаая снег, — утопанный, трамбованный, чищенный широкой деревянной лопатой, — Сашка рассмотрел бы, как густо и ярко вызвездило. Как в Самойловке! Ходил вдоль тройной колючки с автоматом, думал, как будет действовать, если нападут на гарнизонные оружейные склады бандиты. Сейчас бандитов много развелось, всем стволы подавай и патроны. А Сашка до учебки и стрелять не умел. Научили здесь в один момент!

Он вспомнил того юного лейтенанта, который не криком, не угрозами, не ором с матюками, а в несколько простых человеческих участливых слов за считанные секунды научил его стрелять. Позже Сашка узнал, что фамилия лейтенанта — Рудаков.

— Успокойся, парень, — мягко советовал Рудаков вжавшемуся в траншейный выступ Сажину, — послушай, я объясню так, как мне в училище объясняли когда-то: не задерживай дыхание, когда спуск нажимаешь — не выйдет ничего. Вы ж только что бежали, дыхание сбито. Поймай цель и жми на выдохе, спокойненько, медленней выдыхай. Огонь!

Рядовой выстрелил короткой очередью. Автомат послушно вздрогнул, окутав пространство лязгом, — гром, словно Сашке забили в барабанную перепонку четыре гвоздя. Четыре розовых трассера ушли в фиолет снежной дымки, в которой неслышно и быстро упал маленький темный силуэт — мишень.

— Молодец! Молодец! — порадовался Рудаков как за себя самого. — Дерзай, теперь бей пулеметчика!

По «пулемету» Сашка тоже попал, следом сбил «движку» и, довольный, отрапортовал о завершении стрельбы.

И зачем ему теперь эта меткость?

«Ладно, — подумал Сашка, лежа на медицинской кушетке, — комиссуют, домой вернусь, а там видно будет, что и как».

А начмед, скорее всего имея в виду Маслюка, насвистывал под нос песенку «Эх, капитан-капитан, никогда ты не станешь майором...»

Начштаба Тарасов, насупленный, хмурый, полчаса клял демократов и коммунистов, обличал новый строй вместе со старым и, лишь в воинском сословии найдя оплот здравомыслия, ополчился к концу своей речи на неуставные взаимоотношения, а заодно — на комитет солдатских матерей как на другую крайность. Потом начал ставить задачи. Рудакову, как всегда, ничего достойного и боевого не поручили.

«Жалеют, берегут? Как бы чего не вышло — так, что ли?» — досадовал лейтенант, хотя задание на этот раз было приятное — съездить в Москву. «Не иначе, папа соскучился, может, даже в округ позвонил, и Тарасову предложили разнообразить лейтенантские будни командировкой. Или самому Тарасову от отца что понадобилось...» — подумал Влад, ожидая подробностей.

Почти так и оказалось — надо было отвезти кое-какие документы, передать лично пару писем и попутно забрать из госпиталя травмированного рядового Сажина, у которого не обнаружили никакого разрыва причинной железы, а так, ушиб — продолжать службу может, стало быть. «Откосить, видно, хотел».

— Привезешь — и куда-нибудь его с глаз долой... — махнул рукой Тарасов, — и второго, который под арестом, Сидорова, тоже... О, на усиление их обоих, на таджикско-афганскую. Чем нормальных солдат отдавать, лучше эти пусть едут...

Группа пограничных войск России в Таджикистане к тому времени существовала как полноценное соединение не больше года, но в последние месяцы в этой южной республике СНГ обострилась гражданская война. Нападали на пограннаряды в основном местные боевики, но кто мог дать гарантию, что через границу не собираются прорваться и моджахеды из Афганистана? И во всех округах неохотно и исподволь собирали команды для отправки на юг на усиление.

Лейтеху рядовой Сажин оставил спящим в поезде. Прихватил его почти пустую сумку, в которой лежал только спортивный костюм, мыло с одеколоном, носки и белые трусы с кармашком — на бабские похожи...

Военного билета в ней не оказалось. И китель обшмонал у Рудакова, и шинель — не нашел свой документ. «Ну и пес с ним, с военным билетом». Вытащил напоследок несколько купюр из лейтенантского кошелька и снялся с поезда в Северной столице, на Московском вокзале. Из рабочего тамбура уже гражданским вышел — ни один патруль не догадался бы, что полчаса назад в вагонном туалете солдат-пограничник второпях переодевался — натягивал на себя свитер, штаны, куртку бело-синюю на молнии — ну и что, что велико все, зато «адидас»! Свою форму армейскую пришлось в лейтехину сумку заталкивать — не оставлять же в вагоне — как чуял, что еще пригодится амуниция.

На вокзале пристал к Сашке один цыган — никуда от этого племени не денешься, везде обитают — и у них в селе, и вот в Питере тоже кочевье устраивают.

— Есть, — говорит, — у меня картошка сырая, давай сварим.

Смеется Сажин:

— Где ж мы ее варить-то будем?

— А костер разведем.

— На вокзале? — спрашивает Санек.

Задумался цыган:

— Да, — говорит, — здесь не выйдет. Ладно, в вагоне в топке испеку.

А сам на бывшую лейтехину, а теперь уже на Сашкину сумку зыркает, будто украсть мыслится.

— Куда едешь? — спрашивает рядовой.

— А-а... В Астрахань мы едем. А ты?

— Мне в Саратовскую область надо. Но денег нет на билет, — лукавить в армии хорошо научился солдат, чувствует, как от лжи зашевелились у него в белых трусах с кармашком заныканные лейтенантские командировочные. Хватило бы на билет до Саратова, но около касс не только военный патруль терся, но и милицейский наряд, поэтому не пошел Сашка покупать на вокзале билет, рисковать не стал.

А теперь уже забоялся, что прозорливые цыгане про его заначку ворованную прознают.

— А поезд наш как раз через Саратов идет, — поведал цыган.

— А что за поезд?

— Санкт-Петербург — Астрахань. Через час посадку должны объявить.

И тут Сашка загорелся идеей и решился все карты свои открыть. Ну, почти все. А начал с того, что расстегнул сумку и, таясь от вокзального народа, показал свой багаж :

— Выбирай что хочешь, хоть все бери, только проведи меня в свой поезд. В самоволке я, домой очень надо.

— Ай-ай, плохо, — цыган головой покачал, — плохо, что из армии убежал, искать будут, в тюрьму посадят, а шинель — это хорошо, теплая — укрываться хорошо. И форма красивая, новая. Ладно, пойдем, с семьей познакомлю.

Семья оказалась большая — и на семнадцать человек, не считая совсем младенцев, имелось десять билетов в общий вагон. Дали Сажину грязный тюк и платок с малым ребятенком повесили на шею. Табор взял вагон штурмом, и, пока ходили, крутились, гадали, торговали, то прячась от проводницы между вагонами, то подсовывая ей по второму-третьему разу тот же билет, а не удавалось — так червонцы с сотенками, — шел для Сашки будто лихорадочный обратный отсчет: опять Бологое, Тверь, а после Москвы вдруг горячка спала, сердце успокоилось, — всё, возврата нет, едет он домой, — и проспал всю следующую ночь под стук колес на грязном полу под столиком, заваленный тряпками и одеялами. Утром его вокзальный знакомый напялил зеленую погранцовскую фуражку — пошел по составу и где-то на полустанке обменял ее на дюжину прогорклых пирожков.

— На, — подает Сашке промасленный бумажный кулек, — покушаешь в Саратове.

На прощание в опустевшую сумку ему насыпали так и не сваренной картошки из мешка. А деньги из белых трусов с кармашком, как оказалось, пропали.

От вокзала пригородный автобус Саратов — Балашов довез парня до семеновского поворота, откуда он пешком направился по убогой дороге, бывшей когда-то великим соляным трактом, в родное село.

5

Дом, когда-то обшитый железом и выкрашенный салатной краской, теперь от ржавчины стал красно-бурым, лишь под самой кровлей остались пятна выцветшей зелени. Постройка просела, выше окон заросла коричневым после снега бурьяном и пока еще голыми прутьями малины. Вымерзшие за зиму будыля дуры-травы не дали полностью развалиться и упасть палисадному забору — сейчас его разномастные доски, которые мать и дед собирали где придется, прилатывали проволокой, защищая свои грядки от соседских кур, уже сгнили и висят лишь на жухлых стеблях сорняка. На дворе — колодец. Сколько раз за свою жизнь Сашка наматывал цепь на валик, рывками крутил рукоять, будто пытался завести выдавший виды грузовик. И всегда тяжелое ведро шло из колодца неохотно, моталось, било о стенки, отколупывало сырую щепу, роняя в гулкую глубину холодные тягучие оплёски. Под конец ползли мокрые, потемневшие от воды звенья, и оставалось только, придерживая рукоять, другой рукой перехватить ведро за дужку и вытянуть его, как сома из омота. А сейчас поломанный валик лежит на земле отдельно, ожидая починки — видно, не выдержала, оборвалась старая цепь...

Земля напиталась — чуть копни, взрежь лопатой, — и, как спаханное масло, залоснится, налипнет на инструмент тяжелым гнетом. И будешь трясти, стучать совком — а никак не сбросишь жирный пласт. И обувку до конца не отчистишь, пока не высохнет досуха, не обстучится с подошвы, не отвалится сам печатными комьями саратовский чернозем.

В сенях пахнет подгнившей соломой от старого тюфяка на сундуках — не иначе как накапало с прохудившейся крыши, когда таял снег. А в избе жарко натоплена поленьями печка — дед Егор наконец спилил засохшую несколько лет назад яблоню.

— Так вот, дед, — продолжает рассказывать Сашка, — думал-то я, что точно комиссуют. Знаешь, как я обрадовался...

— Чему, полоумный? — Егор Петрович смотрит на внука, будто не узнает — осерчал, значит. — Что, как заяц, без яиц, да лишь бы в армии не

служить? Ты правда дурак или прикидываешься? Ты хоть представляешь, как бы ты дальше жил, если б тебе и правда хозяйство в госпитале отрезали? Ни бабы, ни детей — заклевали бы тебя здесь. Народ — он злой, языкастый, темный. Стадо — затопчут, если ты не такой, как они. Бога благодари, что не влупил тебе этот гамнюк посильней, за счастье сочти, что еще служить можешь! А ты — в бега! Что теперь будет-то?

Сашка слушает деда понуро, опустив, как девица, ресницы, — молчит, а каждое стариково слово поднимает в душе тряскую волну тревоги. «Что делать? Куда дальше? Дисбат? В гарнизоне говорили, что дисбат гораздо хуже тюрьмы... Натворить, пока не поймали, еще чего-нибудь — может, тогда в тюрьму посадят? Боязно».

Егор Петрович умолк, сидит на табуретке, согнувшись, локти на коленках, — то ли набрякшие жилы на руках рассматривает, то ли сквозь руки смотрит в пол. Думает, вспоминает, печалится? Исхудал, зоб порос белой щетиной. Не внемлет ему Сашка. Сколько слушал от деда рассказов о жизни, а в шкуре его не бывал, не прочувствовал ничего, не понимает. Другое время настало — труднее ли, проще — кто знает... Легковесное, животное, бессовестное время. Шкурное. Человека в человеке видеть перестали. Раньше человек трудовой был и ратный — создатель, воин. Теперь кто? Потребитель... И он же товар, да и не товар даже — ярлык. Красивый ярлык, яркий, модных тонов — купят со всем дерьмом вместе, а коль невзрачный, серый, да, не дай бог, больной, грешный — в грязь втопчут, на вторсырьё, под нож. Не важно, что алмаз божий внутри, важно, чтоб ярлык блестел. Скотское время, антихристово...

— Помирать пора, не могу я... — говорит дед, замаргивая слезу.

Сашка молчит. А Егору Петровичу кажется, что молчит вместе с внуком все молодое поколение. Не сейчас его потеряли, не два-три года назад. Нет, раньше молодежь потерялась, куда как раньше — все для них, чтоб жили лучше, слаще, чтоб все им легче доставалось — а им уже ничего и не хочется — ни работать, ни служить, скучно им жить, что ли...

— Дед, не надо, — промямлил Сашка, — не плачь.

Тихо вышел в сени, зашнуровал парадные бо-

тинки — единственное, что осталось от военной формы. Дед Егор не спрашивал, куда внук собрался, и провожать не стал.

Самойловский пруд. Ветлы облепили его подковой, покоится в безветрии тяжелая темная вода. Изредка расходится кругами упавшая залетная капля. Холодает, скоро быть дождю — долго просидели за разговором старый да малый. Дед так и не вышел из дома, издали глядит мутным квадратиком кухонное окошко, у которого старик, наверно, так и зябнет у жаркой печи на самодельной табуретке — вместе строгаи много лет назад. Далеко за ветлами со стороны дороги — торопливые шаги. «Мать, — узнает силуэт Сашка. — Наверно, ей уже сказали, спешит с работы».

Сажину больше не страшно — словно дед только что отдал ему всю накопленную за жизнь... что? Веру, любовь, силу?

— Мама!.. — кричит Сашка в промозглую весеннюю хлябь.

— Сашенька! Сынок! — доносится из-за ближних ветел родной голос.

В Алакургти стремительно прибывал день: прохладное солнце к ночи падало вниз, но, едва дойдя до горизонта, отскакивая от него, будто мячик от ракетки, снова взмывало в небо. В «приезжке» с разных застав, рот, комендатур

собралось уже человек двадцать солдат — разных призывов, вперемешку, в основном провинившиеся или туповатые, — все, кого подполковник Тарасов определял коротким злым словом «чмо». Отсидевший на гауптвахте Сажин был рад увидеть в рядах команды своего давнего знакомого Виталика Лакшу, вновь отрастившего усы и челку. Земляка, как выяснилось, выгнали из сержантской школы за то, что стырил у командира отделения пачку чая.

— Помнишь Спонсора? — спросил Виталий. — Толстый, мордастый был, когда призывались еще... Так вот, видел вчера его — килограммов тридцать сбросил, не узнать. Вот как армия людей меняет!

В казарму с вещмешками зашла еще одна группа приговоренных к южной границе. Во главе вошедших стоял счастливый, дождавшийся настоящей боевой службы лейтенант Рудаков, а из хвоста колонны затравленно посмотрел на Саньку понурый, потускневший Сидоров. Глянул и сразу отвел взор.

— Меняет. Еще как... — тихо отозвался Сажин.

□

Игорь БЕЛКИН-ХАНАДЕЕВ

родился в 1972 году в Москве.

Учился на факультете истории искусства РГГУ.

Художник, литератор.

Публиковался в журналах

«Молоко», «Камертон», «Клазура»,

«Новая литература» и других изданиях.

Живёт в Москве.

В журнале «Север» публикуется впервые.

